

ШКОЛА ЛЮБВИ

Сумбурный роман

6. ВОЗМЕЗДИЕ

Нелепо, глупо даже думать об этом, когда разящее орудие судьбы уже занесено над моей головой для последнего удара, а вот думаю, вспоминаю...

Раньше, давным-давно, о чем бы ни пел молодой Лот, все говорили, что я пою о любви. Пел о виноградниках под знойным солнцем, о нежном ворковании горлинок по утрам, о речных струях, отражающих свесившиеся ветки прибрежных ив, о трепетной тени высоких финиковых пальм, а выходила песнь в честь любви.

Нет больше у Лота песен, давным-давно нет красивого голоса, лишь хрип и шипение вырываются ныне из опаленных зноем черных губ. Нет любви... А вот и есть! Она лишь и осталась из всего бывшего, из всего рухнувшего, ставшего прахом, солью, стыдом и горечью. Только любовью и жива еще моя душа. Грешная любовь к Саре, сделавшая меня самым счастливым и самым несчастным из людей, умрет вместе со мной. А может, и меня переживет...

Сколько еще протяну?... До ночи, глядишь, промаюсь в этой пещере, а к утру надо бы помереть, оборвать эти муки, когда все нутро пышет гончарным горном, когда мысли, как трупные черви, роются под черепом, выедавая мозги, когда только мысль о смерти сладка, будто первый поцелуй...

Как ведь радовался сегодня, когда в пещеру вползла большая, замысловатым и пестрым узором покрытая змея. Один укус ее в считанные мгновения положил бы конец моим мукам. Потому-то, мыча бессловесно, тянул я к ней правую, еще действующую немного руку, а она, подняв столбиком переднюю четверть своего длинного тела, покачивала мерно узорчатой темно-коричневой головкой, с внимательными холодными глазками.

Змея не стала кусать!.. Она шипела на меня, я видел, как на кривом ее зубе набухает прозрачная капелька смертельного яда, тянул вперед, будто за подаванием, грязную трясущуюся руку, но змея отпрянула от меня, будто в крови моей яд пострашнее змеиного. Она поползла из пещеры, а я из последних сил мычал ей вслед перекошенным ртом, кричал всей своей черной, жаждущей смерти утробой.

Эти бессловесные вопли и привлекли к пещере охотника. Маленького, обросшего клочковатой, цвета наскального лишайника, бородашкой, цепкоглазого и болтливового, как все охотники. Он забил копьём уползающую змею у самого входа в пещеру, отсек для верности головку ее кривым острым ножом и горделиво уставился на меня, мычащего еще сильнее и горше.

Горделивость охотника сменилась вскоре изумлением, даже расширились его цепкие глазки под выгоревшими бровями.

— Старик, ты немой, да? — спросил он озадаченно. — Чего здесь валяешься? Она тебя ужалила?

— Смерти хочу!.. Сдохнуть!.. — сумел-таки выдать я сквозь слюну и плач.

— Говорит! — просил охотник, будто сказал я что-либо приятное. — А я уже два дня молча брожу, поговорить не с кем.

Уж так он обрадовался, аж старые шрамы на скуле растянулись, пошли лучиками. Он снял лук с плеча, положил его вместе с копьём на камни, присел рядом со мной на корточки.

— Она успела тебя ужалить, старик?

Я замотал головой и зарыдал вдруг — безобразно, хрипло, страшно, пуская слюни по седой грязной бороде.

Охотник стал не зло, весело даже меня бранить: что ж это, дескать, лежу я так, лепешкой коровьей, если змеей вовсе и не ужален. Потом все-таки понял, что я и впрямь умираю, улыбку с рожки содрал и решил покормить меня, подкрепить мои силы.

— Нет... Не хочу... — хрипел я, но он, не слушая, стал засовывать мне в рот кусочки от вытащенной из-за пазухи, зажаренной до черноты птицы. Я отворачивался, как мог, пытался даже укусить его за пальцы, лезущие мне в рот, бессильный как-то иначе противостоять натиску.

Охотника укусы мои не разозлили вовсе, даже захохотал:

— И кто только меня зубами не цапал, а человек — впервые!.. Ладно, этот кусок я возле тебя положу: захочешь — сожрешь!.. А ты кто такой, старик?

Быть может, лишь потаенная, нутряная боязнь умереть совсем безвестным, неведомым — да, наверно, только она! — заставила меня выдать с хрипом:

— Я Лот... Из Содома...

— Содом знаю! — обрадовался охотник, потом нахмурился, тщетно сводя у переносья белесые брови. — Только там теперь ничего нет, пусто. И Гоморры нет. На их месте теперь горькая лужа набирается. Говорят, города эти Бог покарал за многогрешность жителей... — печаль пришельца недолгой была, замотал он головой, обнажая в улыбке желтые редкие зубы, будто радуясь даже своему неведенью. — Содом знаю, а вот про Лота не слыхал.

Сколько раз за прожитые годы мирился я с безвестностью своей, а вот напоследок мириться не захотел, прохрипел через силу:

— Я Лот, племянник Аврама, которого праведником зовут...

— Аврама знаю! — еще больше обрадовался охотник, а я поймал себя на мысли, что даже теперь позавидовал известности дяди своего. — Только теперь его Авраамом надо называть! — и, видя, что я мотаю несогласно головой, рассердился даже. — Всякий об этом теперь знает, все его так и зовут. А ты, если не слыхал, так слушай.

И он рассказал мне историю, передающуюся из уст в уста: как дядя мой стал Авраамом.

Мой дядя, как известно, всегда праведностью и мудростью славился, а еще тем, что слышит Глас Господень. В день, когда Авраму исполнилось 99 лет, вновь явился ему Господь и в который раз пообещал произвести от него великое множество народов. Горько усмехнулся бездетный Аврам: «Сто лет мне скоро, неужто будет от меня хотя бы один сын?..» «Будет от тебя потомков, как звезд на небе, — заверил Бог. — Дам тебе и потомкам твоим землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую во владение вечное». И будто бы, по словам охотника, лишь два условия поставил моему дяде. Первое: обрезанием крайней плоти скрепить этот завет и сохранять обряд этот во всех поколениях. Второе: «Не будешь ты теперь называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам. И жену твою не называй Сарою, будет имя ей: Сарра».

Мне не надо было объяснять разницу: Аврам — значит Господин мой, Авраам — Господин множества, так и Сарра — Госпожа множества... Но плевать мне теперь, как будут называть моего дядю, я-то уж точно никак его больше не назову, а вот Сара останется для меня всегда Сарою, даже когда сдохну в этой мрачной пещере, для меня она будет — Госпожа Моя!..

И откуда он взялся, этот охотник? Подыхать мне надо, испускать дух под тяжестью грехов, под всей глыбой жизни своей неправедной, под тяжким гнетом двух самых последних, самых мерзких прегрешений, стыдом и горем выжегших мне нутро. А тут пришел этот клочкобородый недомерок и повернул меня — почти обездвиженного не только телом, но и душой, — повернул, будто к свету, к мыслям о Саре, госпоже моей!

Ну и болтлив же этот пришлый охотник! И глуп ужасно. Видел ведь, как корежит меня от его слов, но частил без остановки, захлебываясь бурной и мутной, как ливневый ручей, речью... Он, может, думал, что не верю я ему?.. Верю! До скручивания жил в тугой узел — верю. Много раз рассказывал мне Аврам, что Бог обещал ему потомство, много раз воспламенялся он надеждой и верой, только гибло зазря Аврамово семя в горячем чреве Сары, без зачатия новой жизни...

«Не Аврам обманывал, а Бог, так и теперь обманул его, без года столетнего. Раньше я посмеивался над дядей, теперь даже жалею: хоть каким именем ты назовись, а не родит тебе сына красавица Сара!.. Да теперь она — больно это осознавать! — уже и не красавица наверняка: столько лет ведь прошло...»

Охотник будто услышал мои мысли:

— И, говорят, эта Сарра, Аврамова жена, словно колдовство какое знает, не стареет вовсе: как была самой красивой во всей земле Ханаанской, так и осталась!.. Ты чего дергаешься, старик?

И не объяснить этому балаболу, что, как стрела из лука, пронзили меня его слова.

Сара! Я видел тебя в последний раз много лет назад, когда пошел от Аврама — от тебя! — на восход солнца, в сторону Иорданскую. Я не оборачивался тогда, но видел тебя затылком, всем сердцем видел, тяжело прыгавшим, как полночная жаба, за гнутой оградой моих ребер. И потом много раз видел тебя во сне — неизменно прекрасной. Но трудно верить — зато радостно! — что красота твоя и впрямь не убывала. Если не врет охотник, старость тебя не коснулась, не задела сивым крылом!.. А он еще спрашивает, чего это я дергаюсь...

Лучше бы мне не слушать его рассказ дальше!

У дубравы Мамре, поведал охотник, в пору полдневного зноя, опять явился Господь Авраму. Раньше лишь голос был с небес, а теперь увидел неистовый праведник — стоят перед ним три мужа: один постарше, в середине, а по бокам — двое молодых, похожих, как братья, и у каждого над головой трепещет голубое сияние. Смекнул Аврам — тот, что постарше, Бог и есть, поклонился до земли и молвил: «Владыка! Если обрел я благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут воды, и омоют ноги ваши, а пока отдохните под этим деревом, я принесу хлеба».

И поспешил Аврам в шатер к Саре, велел ей: замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Потом побежал к стаду, выбрал теленка самого нежного и упитанного, велел рабам резать и приготовить его.

Не успел жар полдневный ослабнуть, Аврам уже потчевал гостей. Гости ели, нахваливали. Аврам стоял рядом, смотрел на них. И хоть звали они разделить с ними трапезу, твердил одно: не достоин я, жалкий, сесть рядом с высокими гостями.

Тогда спросил один из них: «А где же Сарра, жена твоя?» И кликнул Аврам Сару, и подошла она, ничуть не робея, окруженная сиянием своей красоты.

Указал Бог место Саре рядом с собой:

— Садись, испей молока с хлебом, подиви нас красотой своей, богоравной красою души и плоти.

Аврам при словах этих чуть было чувств не лишился, а Сара не смутилась вовсе, присела, отведала молока с хлебом, улыбнулась гостям, вытирая тыльной стороной ладони яркие влажные губы.

И сказал Бог Саре:

— В это же время в следующем году будет у тебя сын.

По-доброму рассмеялась Сара:

— Хорошо, если б так! Только этого не хватает нам до полного счастья. Но давно ведь не молода я, и господин мой уже стар...

Бог повернулся к Авраму:

— Именно Сара родит тебе сына! И назови его — Исаак, в память о сегодняшнем звонком смехе жены твоей. (Исаак — смех. — *Прим. автора*).

Потом, по знаку Господа, поднялись молодые спутники его и пошли по пыльной дороге в сторону восхода, но вскоре растаяли в воздухе, будто и не было их. Поднялся и Старший Гость. Аврам, от волнения еле на ногах держась, пошел проводить. Слушал его слова, затаив дыхание.

— От тебя, Авраам, произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все другие народы земли... — сказал Бог и нахмурился вдруг. — А народы побрели теперь по неверным тропам, извратили свой путь на земле... Вот дошел до меня вопль Содомский и Гоморрский, велик он. Тяжел грех жителей сих городов земных! Решил я: сойду, посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне...

Тогда и дошло до Аврама, что спутники Бога отправились не куда-нибудь, а именно к Содому и Гоморре. Тревога сжала сердце праведника.

— Владыка, а что будет с городами этими?

Ответ ему был:

— Прахом станут они, следа от них не останется, ни один житель не спасет свою грешную жизнь!

И тогда Аврам стал молить Бога за племянника Лота, содомского жителя, и вымолил ему — мне! — пощаду...

Охотник рассказывал это вздохом, дивясь и радуясь, что нашел племянника того самого Авраама, в уме уже прикидывал, видать, какие выгоды это может сулить.

Чудно! Если верить этому болтуну, то дядя мой, заступаясь за племянника перед Богом, называл меня праведником. Какой же праведник из Лота? Да теперь уж точно — нет черней и грязней меня!..

Если правде в глаза глядеть, так и в Содом я за тем лишь подался, что там только место мне при скверне моей. Поселился с семьей на окраине и с головой ушел в пучину порочных страстей содомских. Сколько раз жена моя Элда, красноглазая и опухшая от слез, нечесаная, разыскивала меня по утрам, выволакивала из чужих домов, из чужих потных объятий, колотила меня, почти бесчувственного, редела в голос, призывая самую страшную кару на голову мою, сединой уже убеленную.

Я топил в пучине разврата память о красавице Саре, единственной возлюбленной моей. Но она являлась мне ночами с теми же белыми цветами, которые срывала когда-то на склоне зеленого холма, где молил я ее, обезумевший от страсти, чтобы стала она моей, где кричала она мне, убегая: «Ты не можешь любить!..»

Щенков, бывает, топят, так они слепые, а память моя зряча, сильна, потому и выплывала из любых омутов и пучин, не давая мне милости забвения. Я топил, а она выплывала...

Из всех грехов содомских не принял я лишь мужеложства и утех со скотом. Потеряв счет познанным мной женщинам, я толком бы и объяснить не смог, какие из них мне нравятся больше: толстух любил за то, что их груди не помещались даже в вдвоенные мои ладони, что телеса их мощно, как море, колыхались в ответ на толчки мои при соитии, что объятия их жарки и сильны; худых любил за легкость и трогательную хрупкость их, за особенную иступленность в любовных ласках, за шелковистую сухость кожи даже после самых безумных и изнурительных любовных схваток; светловолосых — за то, что головы их при свете дня будто окружены сиянием; темноволосых — за то, что их длинные распущенные пряди особенно хорошо смотрелись ночью на белой постели... И был весь смысл соития для меня — спрятать грубое, воспрянувшее, мужское в нежное, влажное, жаркое, женское... Вот потому склонность содомлян к совокушениям с мужами и скотом всегда была дика для меня и отвратна.